

*Продолжаем
знакомить
русскоязычного
читателя
с произведениями
классика
татарской
литературы
Гаяза Исхаки
в переводе
Азалии
Килеевой-Бадюгиной*



Гаяз Исхаки

ПОВЕСТЬ

Зиндан

записки о пережитом

ТОВАРИЩА нашего, Гарифа-эфенди Бадамшина, выпустили из городской тюрьмы сегодня, 27 января 1907 года. В номере стало чуточку просторней, и я начал писать. Раньше заняться этим не мог ещё и потому, что из-за неопределённости на душе покоя не было. Теперь стало ясно: продержат долго, вот и решил не терять времени даром. С того дня, как вышел из казанской тюрьмы, я по разным причинам пера в руки не брал.

Хочу описать свою жизнь и переживания в неволе, чтобы читатель получил представление о том, что такое тюрьма. Итак, приступаю.

29 октября 1906 года один из студентов-черносотенцев должен был выступить в университете с рефератом, то есть с изложением собственного мнения по определённому вопросу. У меня в тот день были кое-какие дела, поэтому пришёл с опозданием. Прослушав выступление до конца, мы – Сагит-эфенди, Исхак-эфенди и я – решили отметить нашу встречу в какой-нибудь недорогой чайхане. Потеряв час на хождения по Рыбному базару и убедившись, что дешёвой чайханы нам не найти, отправились в гостиницу «Москва». Чаепитие, хотя и влетело в копеечку, доставило нам удовольствие. Сагит-эфенди

с живостью предался воспоминаниям о своей жизни среди киргизских степей и тем украсил нашу встречу. Я тоже порадовал друзей признанием, что карман мой не пуст, потому что удалось кое-что заработать публикациями в газетах. Тут же решён был вопрос о ночёвке.

В Казани в тот момент были введены меры усиленной безопасности, и вопрос о квартире был для меня чувствителен. С 13 января 1905 года я был нелегалом и жить мог лишь там, где не требовали паспорта. Охранка душила людей, державших квартирантов без паспортов, огромными штрафами. Поэтому я вынужден был покинуть хозяев, которые потребовали у меня предъявить паспорт. Договорились, что ночь я проведу у Сагита-эфенди.

Поскольку хозяин у него был на редкость неприветливый черносотенец, предстояло как-то изловчиться и проникнуть в квартиру тайком от хозяина. Потому-то мы вынуждены были сидеть в гостинице до половины второго ночи, дожидаясь, когда хозяин уйдёт спать.

Вышли на улицу. За разговорами не заметили, как дошли. Прежде чем войти в дом, убедились на всякий случай, нет ли во дворе полиции. Идти всем вместе было рискованно, можно было разбудить хозяина и, конечно же, тот закатил бы скандал, а то и вызвал бы полицию. Решили, что сначала позвонит Исхак-эфенди и скажет хозяевам, что если вернутся другие жильцы, он откроет им сам. Выждав минут десять-пятнадцать, вошли и мы. Подготовив статьи для завтрашнего номера газеты, мы стали устраиваться на ночлег. Один постелил на полу газеты, другой устроился на книгах. Мне, как гостю, уступили диван. Почитав по привычке перед сном газеты, я выключил свет и уснул. Не помню, что снилось мне ночью. Проснувшись, услышал, что по лестнице поднимаются полицейские, стуча по каждой ступени шашками, висевшими на них, а безносый хозяин светит им маленькой лампой. Разбуженные стуком и светом, оба моих приятеля вскочили на ноги.

Глядя на Сагита-эфенди, пристав проговорил: «Нам приказано произвести у вас обыск». Безносый хозяин, увидев меня, принялся сыпать бранными словами. «Я не виноват, – оправдывался он, глядя на пристава, – я сдавал комнату только двоим».

Начали обыск. Я лежал, притворившись спящим. Поскольку жильё Сагита-эфенди считалось нашей редакцией, здесь находилось множество газет, писем, статей. Поэтому было видно, что обыск затянется. Но пристав валился с ног от усталости, а материалы наши на татарском языке, и была надежда, что ждать придётся недолго. Городовой-татарин брал бумаги, вертел в руках, не понимая, что там написано, и говорил: «Это статьи, ваше благородие», и бросал бумаги в сторону. Обыск продолжался полтора часа. Пристав принялся писать протокол. Обо мне Сагит-эфенди сказал: «Это товарищ наш. Вчера после театра идти домой было далеко, вот мы и пригласили его к себе». Пристав поверил и не стал меня беспокоить. Однако городовой-татарин, желая показать своё рвение, счёл нужным меня тоже подвергнуть допросу. «Ну что ж, буди», – сказал пристав без особого энтузиазма.

Притворившись, будто не могу проснуться, я сел и, изобразив на лице удивление, старался уверенно отвечать на вопросы, чтобы не возбуждать подозрения. Убедившись, что меня заберут, стал медленно одеваться. Пристав, а в особенности хозяин квартиры, выясняли, кто я. Я говорил неправду, глядя им в глаза, назвал вымышленный адрес. Они рылись в моих вещах, но им ничего обнаружить не удалось. В сущности, обманывать было бесполезно, ведь меня отвезут в часть, где всё обо мне известно. Я назвал свою фамилию. Друзья избегали смотреть на меня, понимая, что спасенья нет. Пристав, видимо, человек новый, не обратил внимания на мою фамилию. После составления протокола я пытался возражать ему, не желая идти в полицию, но вынужден был подчиниться. Нас с Сагитом-эфенди повели в по-

лицию. Деньги, какие были в кармане, я оставил Исхаку-эфенди.

Моё появление вызвало у полицейских настоящий шок. Одиннадцать месяцев они разыскивали меня, а я, пожалуйста, сам явился. Меня тут же посадили в камеру к пьяницам, пообещав быстро отправить в тюрьму. Вскоре начальник вызвал меня, допросил и принял с кем-то говорить по телефону. Я попросил разрешения выйти в туалет. Там, к моему изумлению, окно было открыто настежь. А охранник, стороживший меня, остался за дверью. Понятно, я собрался бежать, но никак не мог сообразить, куда бежать – к Булаку или на Мокрую. Только собрался шагнуть за окно, как в дверь вошёл охранник. Я сделал вид, будто поправляю брюки.

Сагита-эфенди ко мне в камеру не поместили. Я увидел его лишь вечером, когда был вызван повторно. Нам сказали, что в тюрьму отправят нас вместе. Вскоре двое городских повели нас. Мы проходили мимо кондитерской и, поскольку были голодны, попросили разрешения зайти перекусить. Пока городские размышляли, мы, не дожидаясь их решения, вошли в кондитерскую. Один городской последовал за нами. Он оказался неотёсанным чурбаном и сразу же стал торопить, грубо обзываясь. Мы быстро набрали еды и тут же начали есть. В кармане у меня была крупная купюра в пять рублей, я отдал её кондитерам. Увидев людей в сопровождении полиции, все находившиеся в лавке испуганно уставились на нас. А когда городской начал изрыгать ругательства, люди взмолились: «Пожалуйста, выйдите!» На то, чтобы отсчитать сдачу с пяти рублей, требовалось время, и кондитеры отказались взять с нас деньги и лишь твердили: «Пожалуйста, уходите! Скорее уходите!» Мы вышли. Городовой никак не мог угомониться, крыл и крыл нас матом до самой полицейской части.

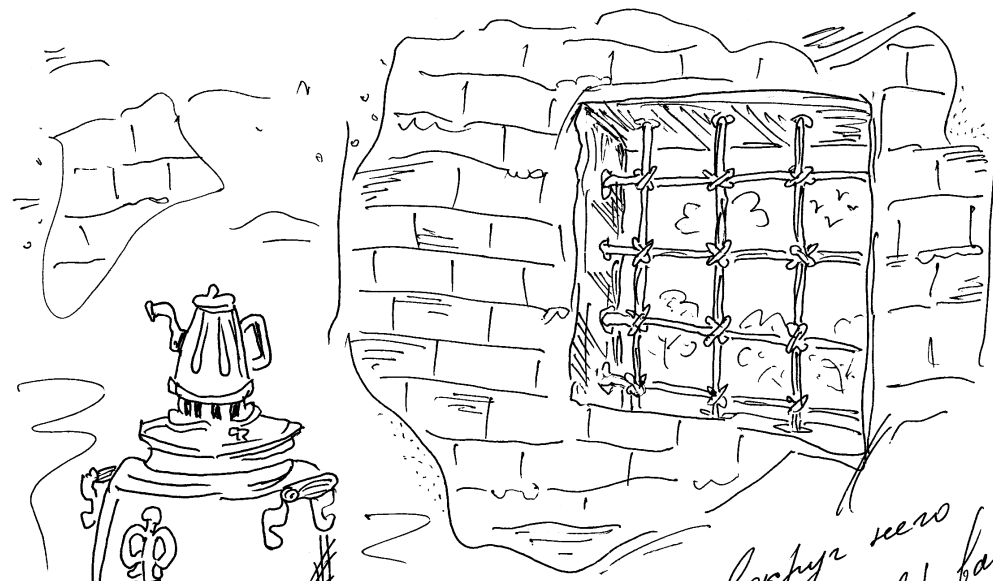
Я забыл сказать, что погода стояла на редкость скверная: сильный буран гнал липкий снег, который клеился к лицу и забивал глаза. Вывески магази-

нов скрипели, трубы противно завывали. А мы шли, жевали пряники из кондитерской, и нам было весело. Гадкий городской без умолку ругал всё подряд – ветер, встречных прохожих, нас, потом переключился на своего товарища. Он раз за разом повторял весь известный ему набор ругательств. Наконец мы пришли в полицейскую часть. Надменный служащий полиции с важным видом принял наши бумаги и поставил свою подпись. Пока писал другую бумагу и принимал людей, являющихся друг за другом, времени ушло порядком.

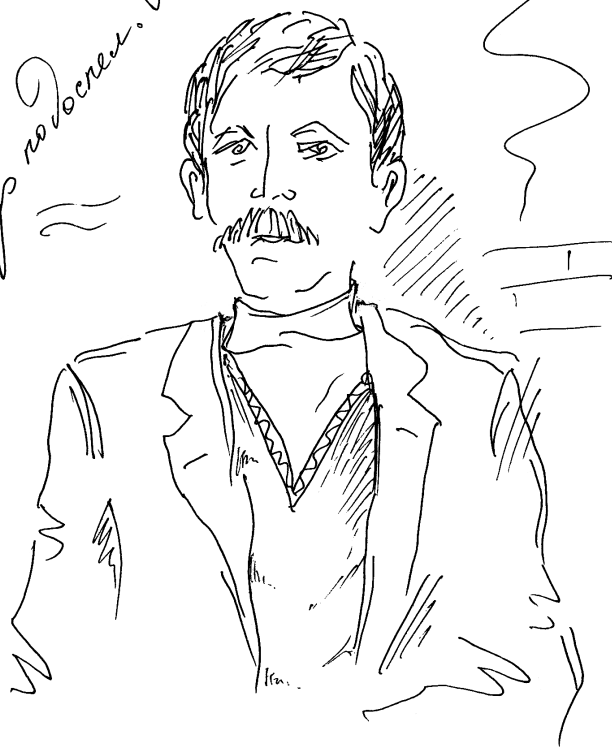
Мы ждали, присев на лавку. С этого места нам была видна внутренняя комната. Там выстроилось множество шкафов. Возле них были свалены большие кипы газет. Выше других была кипа с «Волжским вестником». Издатели газеты трудились, чтобы народ читал её, старались ради общей пользы, а полиция полагает, что такое чтение вредно. Вот почему тираж газеты прямо из типографии оказался здесь.

В течение пятнадцати-двадцати минут из разных полицейских частей было доставлено множество народу. Городовые и прочие были облеплены снегом. Полицейские, здороваясь друг с другом, проклинали погоду, были недовольны и злы. Чиновник не спеша, задумываясь над тем, как следует писать – «ять» или «е», регистрировал новеньких и выписывал убывающих. Все, кто был здесь, за исключением нескольких доставленных, были с ног до головы в чёрном, при шашках, готовые по первому сигналу пустить в ход кулаки и оружие. Один вид человека без шашки вызывал у этих «ревнителей тишины» бурю ругательств.

Это они чугунными своими кулаками, сжимая в руках ножны шашек и рукояти револьверов, «раздавали» народу обещанные манифестом 17 октября гражданские права, проливали кровь граждан, отбирали имущество и жизнь. Они напомнили мне испанскую инквизицию. Казалось, здесь отовсюду грозит человеку зло. Эти люди много лет варили котёл насилия, стали орудием зла,



Мен сәлем болсам ғарыштан. Мен сәлем болсам ғарыштан.
 Мен сәлем болсам ғарыштан. Мен сәлем болсам ғарыштан.
 Мен сәлем болсам ғарыштан. Мен сәлем болсам ғарыштан.



М. Ақхат

поэтому все они кажутся мне мерзкими, гадкими животными, потерявшими человеческий облик, которым не знакомы понятия добра и порядочности.

Нас препроводили в арестантскую при полицейской части. И там снова нас встретили всё те же звери, увешанные оружием.

Для того чтобы принять наши вещи, вызвали «старшого». Старшой оказался человеком маленького роста с небольшой головкой, которая, кроме приёма еды и питья, казалось, не в состоянии ничего делать. Грудь его украшали наградные побрякушки, которыми он, по всему виду, очень гордился. Когда речь зашла о том, где нас разместить, кто-то женским голосом позади нас приказал: «Отведите их к еврею-мальчишке!» Обернувшись, я увидел стоявшую за старшим рябую некрасивую женщину. Её взгляд, голос, манера говорить впору были бы экономке дома терпимости. Достаточно было взглянуть на неё, чтобы распознать в ней безжалостного врага. Во время обыска она была рядом и давала указания. Стало ясно, что командует здесь она, а тот петух-коротышка – просто её муж. Нас спросили, за что мы арестованы. Я ответил: «За то, что живу в России и не занимаюсь, как другие, разбоем». При этих словах лицо коротышки вдруг изменилось, стало, как варёная репа, всё в морщинах. Из рта начали исторгаться какие-то невнятные команды. Но вот старшой успокоился. Обыскав и забрав деньги, нас заперли в камере, где молодой человек сидел за маленьким самоваром и чаёвничал. Я вспомнил, что жена старшого назвала его евреем-мальчишкой. В лицо ударил кислый запах параши, напомнивший об овчарне в ауле.

От нечего делать я стал осматривать камеру. В длину было примерно сажени три, в ширину пять аршин, довольно большое окно. У окна высокие нары от стены до стены. Если подняться на них, окно будет совсем близко. Поскольку оно не такое уж маленькое, днём здесь не должно быть темно. А сейчас вечер, электрическая лампа

под потолком светила слабо. То ли от старости, то ли от паутины, заботливо развешанной вокруг неё пауком, лампа была похожа на уголёк, и проку от неё было мало. Мы стали разговаривать с парнишкой. Дежурному по коридору заказали купить кое-что к чаю, пообещав за услугу десять копеек, и попросили самовар. Пока ждали самовар и покупки, к нам подселили ещё одного человека. Оказалось, это бывший тюремный надзиратель, наказанный за то, что передавал политическим письма. Дело его было в суде.

Но вот из соседней камеры послышалось:

– Гаяз, Гаяз!

Я бросился к стене, но слышимость была плохая.

– Кто ты? – спросил я.

Послышалось:

– Хусаин!

– Какой Хусаин? – пытался я уточнить.

– Хусаин Ямашев, – прозвучало в ответ.

Я был удивлён. «Неужели Хусаина взяли?» – подумал я. – «Когда? Каким образом?»

Вскоре кто-то заговорил в замочную скважину двери. Оказалось, это мой одноклассник. Я спросил:

– Среди вас есть Хусаин?

– Нет. Мы подумали, что Хусаин кто-то из вас.

Я сказал, что товарищ мой зовётся Сагит. Выяснилось, что имя Хусаина Ямашева прозвучало по ошибке. Поговорили с новыми знакомыми. Их обвиняли в каком-то уголовном деле.

Но вот самовар подоспел. Мы сели вокруг него и стали разговаривать. Настроение чуть-чуть поднялось. Мы не пили чай со вчерашнего дня, он оказался очень кстати. Яблоки, булки с сыром друг за другом стали быстро исчезать со стола. Постепенно притерпелись к темноте и зловонию. Один Сагит-эфенди страдал без курева.

Вскоре один давний друг его просунул в скважину папиросы, так что теперь он тоже был доволен. Прошло немного

времени, и Сагита-эфенди вызвали к полицеймейстеру. Вернувшись, он сказал:

– Меня высылают из Казани. Я подписался под требованием уехать в течение двадцати четырёх часов. Обещали сегодня выпустить. Однако раньше в судебной палате с меня брали подпись о невыезде за газетное дело. Вопрос будет рассмотрен судебной палатой первого ноября, так что пока всё остаётся по-прежнему.

На руках у него была бумага из судебной палаты. Прочитав обвинительный акт, он стал думать, как вести себя на суде, кого позвать в свидетели. Тут его вызвали снова. Через час он сообщил нам в замочную скважину:

– Меня оставляют в Казани и отпускают на волю.

Мы попрощались. Я остался один. Но не думайте, что это сильно огорчило меня! Напротив, освобождение Сагита так обрадовало, что я забыл о своём одиночестве. Сагит-эфенди был редактором газеты «Тан». С его арестом выход газеты был приостановлен. Теперь же газета должна выходить снова, хотя и с опозданием. На прощание я сказал Сагиту: «Сделай всё, чтобы газета выходила». Сам же стал ждать, что не сегодня так завтра тоже выйду на свободу. Не раздеваясь, я вытянулся на нарах. Не было у меня ни подушки, ни одеяла. Пальто заменило и то и другое, продолжая служить также и одеждой.

Сколько я проспал, не знаю. Проснулся от того, что, открыв дверь, в камеру к нам затаскивали какие-то вещи. Прошло немного времени, и к нам вошли люди. Они сказали, что вещи привезла какая-то барышня и, поскольку места для них не нашлось, решили забросить в нашу камеру.

У нас стало людно. Шесть новых «сидельцев» принялись готовить себе постели. Видя, что сижу на голых нарах, мне выделили часть матраца. В соседней камере кто-то маршировал, громко топая. Нам захотелось узнать, кто это, и мы стали стучать в стену, чтобы поговорить. Однако сосед не по-

нял нас. Оказалось, это девушка, которая попала в лапы полиции сегодня часов в одиннадцать. Она и фамилию назвала. Я мало кого знал по фамилиям. Узнать кто это, так и не удалось. Мы поговорили ещё немного, а потом уснули. В тесноте, понятно, выспаться, не удалось. И всё же настроение было хорошее. Выйдя в коридор, я заглянул в глазок соседней камеры. Там оказалась девушка, которую я хорошо знал. Она, увидев меня, тоже удивилась. Мы перебросились парой слов. Вернувшись к себе, я сказал товарищам, что по соседству у нас девушка.

Среди моих сокамерников был студент, приговорённый за хранение револьвера на две недели; рабочий, приговорённый за то же на три месяца, и молодой наборщик, татарин, приговорённый на три недели. Остальные сидели не впервые, троих я знал. Мы все вместе сели пить чай. Чаепитие продолжалось долго. После чая подошло время прогулки, во время которой девушка пожаловалась, что ей нечего читать. Я сказал, что у нас есть газеты, и обещал дать ей. Два номера было у меня с собой, и я протянул ей. Прошло не более двух минут, как появился коротышка-петух и спросил, где взял я газеты. Одна принадлежала студенту, другая бывшему надзирателю. Я не стал выдавать их и сказал, что газеты были в камере ещё до меня. Старшой-коротышка, похоже, объяснение моё убедило, и он ушёл. Не прошло и пяти минут, как явился снова и стал допрашивать: «Говори, где взял?..» Я повторил ответ. Он стал петушиться, на что я тоже высказался достаточно грубо. Это разозлило его, и он позвал своих сатрапов, приказал посадить меня в одиночную камеру. Увидев, что там темно, я заявил, что не пойду туда. Меня силой толкнули туда. Я успел сказать коротышке:

– Я научу тебя разговаривать! Опишу в газетах твоё свинство!

Угроза, видно, напугала его, и минут через пять меня вернули в прежнюю камеру. Сокатерники встретили меня

словами: «В борьбе обретёшь ты право своё!»

Минут через десять-пятнадцать старшой явился опять, и меня вновь отвели в карцер, который был значительно меньше прежнего. С этим ещё можно было бы смириться, если бы не холод. Одиночку, видимо, не топили. На стенах висели капли воды, краска на потолке облупилась от сырости, на голову сыпались мокрые ошметки, похожие на снег. Нары здесь отсутствовали, поэтому окно было очень высоко. С одинарной рамы без конца стекали ручьи. На окне красовалась железная решётка, но этого тюремщикам показалось мало, изнутри ещё была вставлена вторая рама из толстых деревянных переплётов. Грубая рама закрывала окно почти полностью, поэтому в камере было темно. Даже стоя под самым окном, буквы различить было невозможно. Кроме подобия кровати со сломанными ножками, заменёнными поленьями, ничего в камере не было. Даже если бы имелся матрац, лежать на нём не удалось бы из-за отсутствия ножек у кровати. Ложиться волей-неволей приходилось на пол. Кроме кровати под дверью была параша. Предмет этот – самая большая беда и скверна для человека, находящегося в тюрьме. Она ранит душу и унижает человеческое достоинство. Она представляет собой подобие шайки в бане, деревянной лохани. С заходом солнца её заносят в камеру. Люди, лишённые возможности выходить, вынуждены пользоваться ею.

Коротышке, видно, очень хотелось поиздеваться надо мною, поэтому парашу занесли в камеру утром, часов в девять.

Ни сесть, ни лечь возможности не было, поэтому я целый день провёл на ногах, вышагивая взад и вперёд. Я ходил и думал: «Пока власть находится в руках таких людей, конца злу не будет». Но вот негодование моё улеглось. Я выкинул из головы ругательства, которыми крыл мерзавца и начал думать о том, как стану жить в тюрьме, куда от души желал попасть. У меня теперь было

лишь две мечты: поскорее оказаться в тюрьме и знать, что газета «Тан» существует.

Я хотел в тюрьму вовсе не потому, что это лучшее место на свете. Я давно и слишком хорошо знаю, что это такое. Неспроста одиннадцать лет прятался я от неё по чердакам и подвалам. Стремление моё в тюрьму объясняется тем, что там есть возможность читать. Последнее время работы в редакции было так много, что времени на чтение не оставалось. Позволить себе бросить газету и заняться чтением я не мог. Только силой можно было заставить меня пойти на это. Газет в тюрьме нет, там приходится читать книги. Время, проведённое в заключении, могло приносить пользу моей дальнейшей журналистской деятельности. Кроме того в тюрьме я мог бы радоваться проделанной мной работе, что было бы торжеством моей совести.

Дела газеты шли хорошо, друзья, оставшиеся вместо меня, без сомнения, достойно продолжали наше общее дело. И вот я, сидя в тёмном, сыром, холодном карцере, от души радуюсь этому. Радость согревала душу, мысли текли быстро, приноравливаясь к ним, я ускорял шаги. Устав, останавливался у стены, прислонившись к ней, давал отдых ногам. А потом шагал снова. Мою тишину и покой здесь не нарушал никто, кроме ключника, большого любителя посквернословить, и старшого. Ключник, проходя мимо, не упускал случая обозвать меня, а старшой интересовался ехидно: «Ну что, хороша ли комнатёнка?» Но я не обращал на них внимания. Моя невозмутимость сердила их. Дважды в день служители тюрьмы спрашивали заключённых: «Чего брать будешь?» Но ко мне с таким вопросом не обращались. Я сам попросил их купить мне еды, но услышав в ответ ругань, решил, что больше ни о чём не попрошу. Авось, не умру. Днём положено было выпускать заключённых в коридор, но я понимал, что меня не выпустят, и к двери не приближался.

Пришло время чаепития. Старшой

раза два подходил к карцеру, надеясь, видно, что попрошу прощения. Но я притворялся, будто не слышу и продолжал шагать по камере. Другим дали чай, а я остался без него. Я продолжал ходить, предаваясь своим размышлениям. Часов в девять меня вывели, осыпая ругательствами. Чтобы мне стало ещё хуже, завели к пьяницам и заперли. Там я продолжал хождения, думая о своём. Вскоре явился старшой и сказал: «Одному тебе скучно было, вот посадили к приятелям. Теперь будет весело». Когда он говорил это, лицо его, похожее на варёную репу, кривилось в довольной улыбке. Он радовался, думая, что слова его задевают меня, но я спокойно сказал: «Спасибо, здесь мне и в самом деле очень нравится. Этих людей я буду учить добру». Он разозлился и начал обзывать гадкими словами. Открыв дверь, стал, как петух, наскакивать на меня, замахиваться. Я продолжал ходить по камере, не обращая на него внимания. Он пришёл в ярость и приказал своим подчинённым собрать мои вещи и вывести меня в коридор. Пять-шесть полицейских выкинули мои вещи из камеры. Я был готов к тому, что меня будут бить, но ничего поделать не мог. В одно мгновение я снова оказался возле сырого и тёмного карцера. Когда вошёл, один из молодчиков то ли ударил, то ли пнул меня, и я отлетел за три сажени к стене и сильно ударился. Тут полицейские принялись бить меня. Один, в чёрном, дал кулаком в ухо, и я упал. Другие пинали и топтали меня. Сжав кулаки, я пытался защитить грудь.

Но вот мучители мои утомились и избивание прекратилось. Решив, что им надоело молотить меня, я поднялся и тут же снова был сбит с ног. Снова посыпались удары и пинки. Я всеми силами старался прикрыть грудь. Надзиратели снова утомились. На этот раз я подниматься не стал, оставался лежать. Экзекуторы, ругаясь, вышли и заперли меня. Казакин мой, перепачканный о сырую стену, имел жалкий вид. Ухо гудело, я постоянно слышал шум, похожий на шум самовара. Живот болел, спина

ныла, кости ломило. Щёки мои горели. Не в силах унять в душе негодование, я желал уродам в мундирах гореть в аду. Больше всего унижало, что я был совершенно беззащитен перед ними.

Постепенно мысли мои пришли в порядок. «Ну да, – думал я, – на войне не приходится ждать милосердия. Между народом и властью началась война. Я, боец народной армии, нахожусь в плену у врага. Понятно, им позволено делать со мной всё, что вздумается. Поэтому то, что случилось со мной, – дело самое обычное. Чтобы покончить с этим, надо низвергнуть власть кровопивцев».

Оказалось, что надзиратели наблюдали за мной в глазок. Они крыли меня гадкими словами, но бить не стали. Их жестокость, как ни странно, пошла мне на пользу. Во-первых, во мне больше не осталось ни капли доверия к людям этого ведомства, которые теперь были для меня не чем иным, как бездушными машинами для пыток. Во-вторых, побои их лишь согрели кровь, взбудоражив её, принуждая живее бежать по жилам. Я уже не чувствовал собачьего холода карцера.

Меня как-то разом одолела усталость. Завернувшись в пальто, я вскоре забылся на холодном полу крепким сном. Проснулся от промозглого холода. На теле не было места, которое бы не болело. Я не мог прикоснуться к уху, так оно ныло. Мой живот казался чужим. В голове бродили нехорошие мысли. Я быстро встал и снова начал ходить. Мысли постепенно успокоились. Ходьба и согрела, и утомила. Я снова лёг и уснул.

За ночь раз пять или шесть я грелся подобным образом, наконец настало утро. Народ зашевелился. К двери моего карцера никто не подходил. Когда заключённых выпустили в коридор, пришёл один из товарищей по камере. Я рассказал ему, что было. Он принёс мне карандаш с бумагой, я написал товарищам записку. Он же принёс мне поесть и чай. Сидя на холодном полу, я принялся пить чай. Подошла девушка из соседней камеры, спросила, как я себя чувствую.

Она тоже принесла еды. Я не ел целые сутки, угощение было кстати. Хорошо подкрепившись, принялся маршрутировать. Я не обращался к полицейским с просьбами, надеясь попасть в партию заключённых, которых должны отправить в тюрьму, и избавиться от своих мучителей. После чая снова пришёл один из сокамерников. Я попросил в записке принести мне подушку и одеяло. День прошёл без особых событий.

Часа в три в карцер явился старшой. Он, видно, опять затевал что-то против меня, но я не дал ему раскрыть рта, спросил:

– Кто-нибудь из людей полицмейстера есть здесь?

Он ответил:

– Есть.

– Передай ему от меня привет, – сказал я.

Слова мои подействовали на него так, словно внезапно разразился гром. Человек будто забыл, что он здесь старшой и вдруг растерянно вытянулся передо мной, щёлкнув каблуками. Я не ожидал, что слова мои возымеют такое действие. Поразительно было видеть страх, какой способна внушить подчинённому одно лишь упоминание о начальнике. Я отвернулся. Старшой, оправившись от шока, поспешил задобрить меня и как-то загладить вчерашнюю свою гнусность.

– Господин Исхаков, – заговорил он, – когда же выпустят вас, вот ведь времена какие – хватают и виновных, и безвинных! Пойду разузнаю, что с вашим делом!

И он испарился. Было слышно, как он торопливо говорит что-то жене и избивавшим меня полицейским, приказывает мыть что-то...

Не прошло и полчаса, как он явился вновь:

– Господин Исхаков, я приказал вымыть для вас комнату. Там есть нары. Не изволите ли перебраться туда? Не надо ли чего купить? Не изволите ли послать в лавку? Не закажете ли самовар?

Он из кожи вон лез, чтобы угодить мне.

Мне оставалось лишь приказывать: сделайте так да сделайте эдак! Прошло немного времени, и я переступил порог прежней своей камеры. Она была старательно вымыта, параша вынесена, пол посыпан карболкой. Вскоре из лавки доставили заказ, принесли самовар. Но это было не всё, плоды моей «победы» продолжали сыпаться на меня: я получил одеяло и подушку. Товарищи дали газет. Сытый и довольный, я ходил по камере, обдумывая своё будущее повествование о жизни в узилище. В десять часов лёг спать. После трёх мучительных ночей мгновенно забылся сном.

Когда проснулся, в камере было светло, в коридоре торопливо сновали люди. Слышались голоса из соседней камеры. В дальнем конце коридора по фамилиям выкрикали пьяниц. В душе моей поселилась непонятная радость. Я словно забыл об избиении, о том, что сутки голодал, не спал три ночи. Я почему-то был уверен, что как только проснусь, меня выпустят на волю и в тюрьму не отправят. Утром парашу тотчас вынесли. Спросили, что купить, обещали самовар. Я вышел умыться. Увидев знакомую барышню, сообщил ей, что меня выпускают. Она спросила:

– Кто-то сообщил вам это?

– Нет, – ответил я, – мне сердце подсказывает!..

– Ну что же, – сказала она, – посмотрим, подтвердится ли ваше предчувствие. – И ушла к себе.

Я тоже пошёл в свою камеру и подсел к самовару.

После чаепития запиской через товарищей по камере заказал обед. Взял у них почитать газету. Там было написано, что судебная палата признала Сагита невиновным. Это обрадовало меня. Сегодня мне почему-то везло на радостные вещи. Будущее представлялось в радужном свете.

Часа в два принесли передачу и сообщили, что завтра ко мне придут на свидание. Но я не придал новости значения, поскольку был уверен, что завтра меня здесь уже не будет.

Настал вечер. Надежда на освобождение нисколько не поколебалась. Часов в девять ко мне в камеру пришёл старшой. С видом большой озабоченности сообщил:

– Я разыскал ваше дело. Вас сейчас вызовут к полицмейстеру.

Я оделся, и мы отправились к полицмейстеру. Меня принял секретарь.

– Полицмейстер предписывает вам покинуть Казань в течение двадцати четырёх часов. Куда поедете? – спросил он.

– В свой аул Яуширма, – сказал я. Меня заставили подписать обяза-

тельство. Я подписал также бумагу о том, что получил на трёхдневное содержание пятнадцать копеек, по пяти копеек в день.

Из кабинета полицмейстера вышел человек.

– Вы Исхаков? – спросил он. Услышав подтверждение, поинтересовался:

– Вы кормовые получили?

Я не понял вопроса.

Чиновник уточнил:

– Пятнадцать копеек получили?

– Да, – кивнул я.

– В таком случае ступайте, – сказал он.

(Окончание следует.)

